

ПОДВИГ ПОЭТА

Б. Мейлах

Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, которое должен занимать в своей стране великий поэт.

Чернышевский. Сочинения Пушкина.

I

В „Племяннике Рамо“, этом, по словам Энгельса, высоком образце диалектики, Дидро с исчерпывающей полнотой развернул излюбленную им идею о великой исторической миссии „гениев-благодетелей человечества, делающих честь тем народам, среди которых они живут“. Великий энциклопедист с исчерпывающей ясностью обнажил враждебность придворного и буржуазного мира всякому подлинному художнику, не желающему продавать свой талант. Племянник Рамо, выражающий взгляды „самой важной части города и двора“ и готовый для собственного спокойствия на всяческие подлости, ненавидит „гениев“ из-за того, что они независимы, честны, самоотверженны. По мнению Рамо — „для народов ничего не может быть полезнее лжи, ничего вреднее правды“, поэтому гениальных людей, выступающих в защиту справедливости, следует уничтожать. „Гении“ изменяют внешний вид земного шара, а глупость так всеобща и всемогуща даже в самых ничтожных вещах, что ее „нельзя изменить без суматохи“, столь ненавистной всем любящим „спокойствие“. Гордой независимости „гения“ Дидро противопоставляет продажность и лицемерие племянника Рамо, восклицаящего:

Исполнять свои обязанности — к чему это ведет? К зависти, к беспокойству, к гонениям. Разве так выходят в люди? Нет, чорт побери! Надо кланяться, ухаживать, шляться к знати, изучать ее вкусы, подлаживаться под ее прихоти, содействовать ее порокам, одобрять несправедливости, вот в чем весь секрет!

Пушкин, синтезировавший в своем творчестве высшие достижения мировой культуры, воспринял у передовых представителей французского просветительства убеждение в высоком назначении поэта — учителя народов, свободном от эгоизма и корыстных стремлений, призванном „глаголом жечь сердца людей“. Ни преследования царского правительства, ни травля и насмешки реакционной критики, ни издевательство полиции и цензуры не изменили убеждения Пушкина в правильности своего пути. В 1820 году царское правительство сослало Пушкина на юг, ожидая, что певец „Вольности“ „остепенится“, „исправится“. А он создает там романтические поэмы, наполненные протестом против „неволидушных городов“, сближается с декабристами, пишет свои острейшие политические стихи,

задумывает историко-политическую драму „Вадим“. Его отправляют в ссылку в Михайловское — он пишет первую русскую реалистическую трагедию „Борис Годунов“, смело выдвигая в ней вопрос об отношении между народом и царем, о значении „мнения народного“ в борьбе партий за власть. Наконец, Пушкина возвращают из ссылки в надежде, что „если удастся направить его перо и его речь, то это будет выгодно“. Но ожидания Николая I и Бенкендорфа не сбылись: перо Пушкина не удается „направить“. Не помогают ни запрещение печатать „Бориса Годунова“, ни возбуждение политических процессов о стихотворении „Андрей Шенье“ и „Гаврилади“. В творчестве Пушкина с каждым годом все более крепнет реалистическая струя, все более возрастает его стремление к демократизации своих произведений, к разработке тем мятежей и восстаний. „Медный всадник“, „Капитанская дочка“, „История Пугачева“ — таковы творческие вехи последних лет жизни поэта, самое существование которого было несовместимо с феодально-крепостническим режимом. Родоначальник новой русской литературы, литературы смелого обличения, суровой правды и мести, знал об опасности избранного им пути. Сознывая героизм писателей, находившихся в эпоху жандармского террора „вперед во всех набегах просвещения“, Пушкин писал: *„не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла“*. „Первые выстрелы“! После 27 января 1837 года эти слова приобрели неожиданный смысл, стали символическими...

Для народов нашей великой родины, где писателям — „инженерам человеческих душ“ — доверена важнейшая функция воспитания людей, незабвенной останется память о Пушкине, творившем свое великое дело, несмотря ни на какие препятствия. Но то, что для нас является историей, находит аналогии в странах, где хозяйничают фашисты, могильщики культуры, тюремщики лучших представителей науки, искусства, литературы. Самоотверженное борение Пушкина за свободу творчества, его стремление к дальнейшему совершенствованию по избранному пути, вера в победу исторического прогресса над силами реакции остаются глубоко поучительными.

II

Для творческого развития Пушкина характерно необычайно раннее осознание своего назначения, понимание всех трудностей и опасностей „ремесла“. 15-летним мальчиком он пишет стихотворение „К другу стихотворцу“, в котором трезво рисует положение писателя в современном ему обществе:

Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, читают — лишь журналы;
Катится мимо их фортуны колесо:
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоенс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он.
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

„В лирике первых лицейских лет влияние Батюшкова, Карамзина, Жуковского, легкой французской поэзии сглаживало жизненные противоречия, влекло к подмене реальной действительности „воображением“, „мечтою“.

Фантазия, тобою
Одной я награжден,
Тобою принесенный
К волшебной Иппокрене
И в келье я блажен!

Что было бы со мною,
Богиня, без тебя?
Знакомый с суетою,
Приятной для меня,
Увлечен в даль судьбою,
Я вдруг в глухих стенах,
Как Леты на берегах,
Тобою похищенный,
Явился заключенный,
И скрипнули врата,
Сомкнувшись надо мной,
И мира красота
Оделась черной мглою!..

(1814)

В этих стихах сила поэтической традиции скрывала подлинный, многообразный, внутренний мир юного поэта. Свидетельства о мучивших его проблемах, о напряженной работе мысли над поисками ответов на „вопросы бытия“ дошли до нас из иных источников. В отношении к 1830 году плане автобиографических записок Пушкин отметил под 1811 годом — годом поступления в лицей: „*Мое положение. — Философические мысли*“. А в лицейском дневнике Пушкина 10 декабря 1815 г. записано: „Вчера написал я третью главу „*Фатама*“ или *разума человеческого: право естественное*“. „Фатама“ не уцелела, о содержании ее мы можем судить лишь по рассказам раннего биографа Пушкина — В. П. Гаевского. Не сохранилась и комедия в стихах „Философ“, которой Пушкин, по словам лицейского товарища Пушкина Илличевского, думал „открыть свое попрание по выходе из лицея“. Но самый заголовок произведения „Разум человеческий: право естественное“ говорит об интересах поэта. Литература французских просветителей, общение с вольнолюбивыми друзьями, лекции Куницына о „естественном праве“, — все это выдвигало острые вопросы о законности существующего порядка вещей о противоречии между обществом и личностью, скованной регламентациями самодержавно-деспотического государства. От Куницына Пушкин услышал полное глубокого смысла слова: „Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергают верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также и на собственную пользу“. Логике этой формулы действительность противопоставляла предписанную аракатеевским режимом регламентацию мыслей и чувств, подавление творческой свободы, непререкаемый авторитет полицейской власти. Дилемма — смирение или бунт — отразилась уже в стихотворениях Пушкина 1815 года. Почти программна сатира „К Лицинию“, содержащая декларативные строки:

Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом,
В гремящей сатире порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

Характерно, что теме выбора жизненного пути, смирения и бунта личности, Пушкин посвятил послания, адресованные к лицейскому сверстнику князю А. Н. Горчакову, честолюбивому и степенному „питомцу мод“, который еще на лицейской скамье сознательно готовился к карьере крупного деятеля правительственной бюрократии.

Три послания написал Пушкин Горчакову. Первое послание (1815) начинается с взволнованной декларации, категоричность которой несколько неожиданна, если учесть общее направление всех ранее написанных Пушкиным стихов:

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможи знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф, —
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь жустого не умею
Высоко, тонко и хитро
И в лиру превращать не смею
Мое гусиное перо!

Обычаю „придворных философов“ подносить „вельможе знатному“ оду полемически противопоставляется сниженный жанр дружеского послания:

Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.

Далее поэт останавливается перед вопросом — чего желать „от чиста сердца“ другу: „богатства“, „громких дней“, „крестов“, „алмазных звезд“, „честей“ или же, наконец, военных успехов. Эти типичные для традиционного в русской поэзии этого времени послания вельможе перечисления перебиваются ироническими строками:

Не сладострастия поэт
Такою песенкой поздравит,
Он лучше муз навек оставит!
Дай бог любви, чтобы ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!..

Во втором — элегическом послании (1816) — намечена тема разграничения различных жизненных путей:

С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный
И розно наш оставим в жизни след. (Курсив мой. Б. М.)

Прошло два года, Пушкин, живший в кипучей атмосфере петербургских антиправительственных кружков и объединений, активный участник

„Зеленой лампы“, к этому времени написавший „Вольность“ и „Ноэль“, „Послание Горчакову“, „Деревню“, политические эпиграммы, снова обращается к Горчакову с посланием. Пушкин теперь уже политически определившийся поэт. Горчаков же тотчас по окончании лица „пошел в гору“ и быстро продвигался в коллегии иностранных дел. В своем послании Пушкин не только резко отвергает советы Горчакова оставить „мирный круг“, где поэт проводит „незнаемый досуг“, ¹ но поднимается до высокого пафоса социального обличения:

И, признаюсь, мне во сто крат милее
 Младых повес счастливая семья,
 Где ум кипит, где в мыслях волея

 Чем вялые, бездушные собрания,
 Где ум хранит невольное молчанье,
 Где холодом сердца поражены.

 Я помню их, детей честолюбивых,
 Злых без ума, без гордости спесивых,
 И, разглядев тиранов модных зал,
 Чуждаюсь их укоров и похвал!..

 Не вижу я изношенных глупцов,
 Святых невежд, почетных подлецов
 И мистика приворного кривлянья!..

На предложение Горчакова оставить круг своих друзей для „большого света“ Пушкин в свою очередь отвечает предложением:

И ты на миг оставь своих вельмож
 И тесный круг друзей моих умвожь.
 О ты, харит любовник своевольный,
 Приятный льстец, язвительный болтун...

Так, еще до ссылки, определяет свое жизненное credo молодой Пушкин. В стихотворении „Товарищам“, написанном перед выпуском он указывает на свое равнодушие к царской службе:

Не рвусь я грудью в капитаны
 И не ползу в ассессора;
 Друзья! Немного снисхождения,
 Оставьте красный мне колпак...

Решение Пушкина посвятить свою жизнь художественному творчеству нашло отражение в послании „К Жуковскому“. Здесь поэт выразил не только готовность разить варваров „краввыми стихами“, но и понимание *политической опасности* избранного им пути:

Но вижу: возвещать нам истины опасно,

 Гонения терпеть ужель и мой удел?
 Что нужды? смело в даль, дорогою прямою...

А в 1824 году Пушкин писал о своем положении в обществе: „Ради бога не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость...“¹

¹ Вероятно, здесь подразумевались нелегальные собрания „Зеленой лампы“.

III

Защита Пушкиным своей независимости как писателя тесно связана с его неизменным на протяжении всего творческого пути отрицательным отношением к меценатству. В письме к Вяземскому 1824 года он писал: „...меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет *великодушного покровительства просвещенного вельможи*. Это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно *независима*“. Не считая необходимым присвоение писателем чинов, он возражал против иронической характеристики Дельвигом Сомова как „безмундирного“, заметив: „Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над *независимостью* писателя?“ В середине 1825 года Пушкин вступил в полемику с Бестужевым и Рылевым по вопросу об „ободрении“. В своем „Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 гг.“ Бестужев писал: „...отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных? Предслышу ответ многих, что *от недостатка ободрения*. Так его нет и слава богу. Ободрение может оперить только обыкновенные дарования“. Пушкин считает неверным публичное выступление о том, что развитие литературы не тормозится отсутствием ободрения. В письме к Бестужеву он разъясняет, что его утверждение о том, что „ободрение может оперить только обыкновенное дарование“, фактически неверно и приводит в пример Тассо, Ариосто, Шекспира, Мольера, Вольтера и Державина, замечая при этом: „наша словесность уступает другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиним умолкнул голос лести“. В письме Рылееву Пушкин более прозрачно намекает на политическую ошибочность этого публичного выступления Бестужева: „...в чем дело? Что у нас не покровительствуют литературу? Что слава богу? Зачем же об этом говорить? Или *reveiller le chat qui dort?* Напрасно. Равнодушию у правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности“.

Подвергая суровой критике французскую придворную литературу, Пушкин одну из причин ее ничтожества видел в том, что „писатели (класс бедный и насмешливый, дерзкий) были призваны ко двору и задарены пенсиями...“ Поэтому „словесность сосредоточилась около его (Людовика XIV) трона. Все писатели получили придворную должность и, когда, в отличие от выполнявших заказы короля Корнеля и Расина, Лафонтен напечатал в Голландии свои „веселые сказки о монахинях“, а Фенелон написал „язвительную сатиру на прославленное царствование“, то их постигло суровое наказание: „Лафонтен умер без пенсии, а Фенелон — в своей епархии, отдаленный от двора за мистическую ересь“. Наконец, в тонкой проэцированной в русскую действительность статье „Вольтер“ (1836) Пушкин показал, что „первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения“ не имел „самоуважения“ и поэтому „не привлекал уважения к своим сединам“. „Что влекло его в Берлин?“ — писал Пушкин о попытке Вольтера приютиться у трона прусского короля Фридриха II: — „Зачем ему было променять свою *независимость* на своенравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?..“ Если учесть оценки Пуш-

киным своего камер-юнкерского мундира, то совершенно очевидна автобиографичность заключения статьи.

Указывая, что вопреки желания Вольтера „король... не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана“,¹ Пушкин заканчивает статью в назидательном тоне: „что из этого заключить? Что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалит благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, *независимость* и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы“.

IV

Идейная и материальная зависимость Пушкина все более увеличивалась по мере его творческого роста. Он был первой жертвой освободительного движения декабристской эпохи, жертвой которой царское правительство мстило ежедневно и ежечасно. Пушкин высоко ценил достоинство своего писательского звания, но именно это звание было презираемым в жандармской России. Летом 1824 года он в отчаянии писал из Одессы: „Я устал подчиняться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника; мне надоело видеть, что на моей родине обращаются со мною менее уважительно, нежели с любым английским балбесом, приезжающим предьявлять нам свою пошлость...“

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластие;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнание
Влачу закованные дни.

— жаловался поэт в стихотворении „К Языкову“, написанном в Михайловском в 1824 году. В это же время он пишет Жуковскому: „на меня и суда нет. Я hors de loi“. Столкновение с отцом усиливает безнадежность и тоску Пушкина: „спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем...“ Это не было пустой фразой. В дошедшем до нас официальном заявлении псковскому губернатору Пушкин писал: „Решаюсь для спокойствия отца и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства...“ Но чем больше ухудшалось положение Пушкина, тем с большей настойчивостью защищал он дорогие ему идеи о высоком общественном значении поэта. „Ни один из русских писателей не притеснен более моего“, — заявляет он Бенкендорфу в 1835 году. И ни один из писателей этой эпохи не переживал с такой болью оторванность литературы от народа, ее обреченность суду официальной критики и „высшего света“. „У нас литература не есть потребность народная“, — с горечью конста-

¹ Под „шутовским кафтаном“ Пушкин подразумевал пожалованное Вольтеру Фридрихом II камергерское звание. По свидетельству Нащокина, Пушкин отверг предложенное ему Бенкендорфом камергерское звание, заявив: „Вы хотите, чтобы меня так же упрекали, как Вольтера!“

тировал Пушкин. В этих условиях труд писателя являлся *подвигом*. Как подвиг Пушкин и рассматривал деятельность поэтов, порвавших с окружающей социальной средой и творивших, невзирая на „суетные оковы“. С этой точки зрения интересен отзыв Пушкина о Гнедиче, в продолжение многих лет работавшего над переводами Илиады: „Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частью устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величайшей древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но только легкомысленное занятие, с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни *исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига*“. А в стихотворении, обращенном к Гнедичу, в связи с этим же событием Пушкин изображал поэта в „высоком“ образе пророка:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.¹

Подвигом считал Пушкин и свою деятельность. Его стихотворения, посвященные вопросу о роли поэта и обличающие „чернь“, навязывавшую поэту свои заказы, носят вполне конкретный защитительный характер. С особенною ясностью этот характер выражен в стихотворении „Поэт“:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за *подвиг благородный*.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Существующая рукопись этого стихотворения (озаглавленная „Награды“) со всей очевидностью показывает, что, создавая его, Пушкин не столько нападал на „толпу“, сколько оборонялся: „Чернь“ не только „*труд гения хулит*“, но хочет „сронить“ поэта:

Так пусть перед тобой, беснуясь, чернь кричит
И дует на алтарь, где твой огонь горит,
И чтоб тебя сронить, колеблет твой треножник.

Эти заостренные формулы вполне оправданы, если учесть, что ко времени написания стихотворения „Поэту“ (июль 1830 года) мнение об „упадке“ пушкинского таланта стало в прессе преобладающим. Равнодушные, а иногда и злобные отзывы журналов о напечатанных отрывках из „Бориса Годунова“, издательская, подказанная чиновником III отделения резолюция Николая I об этом произведении,² которым Пуш-

¹ Любопытно, что в течение долгого времени адресатом этого стихотворения считали... Николая I.

² „Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с *нужным очищением* автор переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтер-Скотта“.

кин рассчитывал произвести „переворот“ в русском театре, наконец, единогласная отрицательная оценка критикой вышедшей в марте VII главы „Евгения Онегина“,¹ — таков биографический фон замысла этого стихотворения. Любопытно, что тематический мотив „Услышишь суд глупца и смех толпы холодной“ находит параллель в замечаниях Пушкина по поводу оценки „Бориса Годунова“. Раскрывая замысел своей трагедии, расположенной „по системе отца нашего Шекспира“, Пушкин писал об откликах на нее: „Что же вышло? Обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм называться стихами. Г-н З. предложил променять сцену Бориса Годунова на картинки Дамского Журнала. Тем и кончился *строгий суд* почтеннейшей публики“. Это было написано Пушкиным, повидимому, в 1828 году. А в письме к Е. М. Хитрово, написанном в феврале 1831 года, содержится признание Пушкина, подтверждающее, что, создавая первую русскую истинно-романтическую трагедию, он не ждал „наград за подвиг благородный...“ „Вы говорите мне об успехе „Бориса Годунова“; по, правде, я не могу этому верить. *Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его...* К тому же все хорошее в ней (трагедии) так мало рассчитано на то, чтобы поражать почтеннейшую публику, т. е. ту сволочь, которая нас *судит*, и раскритиковать меня вполне основательно так легко, что я думал доставить удовольствие только дуракам, которые могли бы выказать свое остроумие за мой счет“.

V

И все же Пушкин был *оптимистом*. В творческом труде, обращенном к будущему, видел он цель своего существования. Источник пушкинского оптимизма лежал, конечно, вне кошмарной действительности России Николая и Бенкендорфа, о которой поэт писал: „Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом“. Этот оптимизм возник в поэзии Пушкина только благодаря его широкому пониманию тенденции исторического развития, благодаря присущей ему исторической интуиции. В самые тяжелые годы своей жизни Пушкин не забывал о том, что исторический прогресс не могут остановить никакие силы старого мира. В этом смысле он был настоящим романтиком, глубоко отлично от многих его современников, для которых разгром декабрьского восстания явился знаменем незыблемости и вечности самодержавно-крепостнического режима. Оптимизм Пушкина явился результатом глубокого преодоления жизненных противоречий, а не игнорирования их. В его поэзии иногда находили место трагическая безнадежность, отчаяние, тоска, вызванные безысходностью личной жизни и травлей, которую на протяжении многих лет вела светская чернь, подготавливая гибель поэта. Но даже в самых пессимистических стихотворениях („Дар напрасный, дар случайный“, „Предчувствие“, „Не дай мне бог сойти с ума“) нет того порочного

¹ Положительный отзыв был напечатан лишь в „Литературной газете“. „Северная пчела“ заявила о полном падении пушкинского таланта, а „Вестник Европы“ признал это произведение „блестящей игрушкой“, „забавной болтовней“, а в заключение призвал Пушкина „разбаврсить добровольно и добросовестно“.

душевного надлома, который так знаком нам из поэзии символистов, отразившей распад сознания обреченного на гибель класса. Понимание непрерывности исторического развития было в высокой степени свойственно Пушкину. Он умел глядеть *вперед*, через головы современников, и видеть вдали светлые, хотя и неясные даже его проницательному взгляду передового человека своего времени горизонты будущего. Отсюда символическое обращение к „племени младому, незнакомому“ в конце одного из полных „светлой печали“ стихотворений. Отсюда и оптимистическое заключение стихотворения „Брожу ли я вдоль улиц шумных“ и обращенное к будущим поколениям стихотворение „Я памятник воздвиг себе нерукотворный...“, в котором Пушкин декларировал свое равнодушие к хвале и клевете современников и надежду на благодарность народов.

Всего лишь 38 лет назад царская Россия отмечала столетие со дня рождения „раба божьего Александра“ казенными панихидами и заупокойными речами. Официозная российская общественность намеренно фальсифицировала образ поэта в соответствии с интересами класса угнетателей. В многочисленных юбилейных статьях и речах почти не звучали новые мысли. Речь Достоевского, видевшего „итог Пушкина“ в религиозном смирении и обретении мистической „внутренней свободы“, утверждения рядовых популяризаторов, что смысл творчества Пушкина выражается в формуле „человек должен стать выше всего земного“, — таков идейный арсенал основного потока пушкинской юбилейной литературы 1899 года. Ханжеством юбилейной сутолоки возмущались даже смиренные либералы. В дружном хоре представителей казенной науки и публицистики диссонансом звучали голоса обитателей „слоновой башни“ символистов, устами одного из своих представителей Н. Минского заявивших: „На улице русской литературы готовится лишь парад пушкинского юбилея, праздник же пушкинской поэзии со всей искренностью и радостью будет отпразднован лишь в одном из литературных переулков, именно в том, где обитают поклонники символизма и эстетики“. Но фальшь этой „радости“ обитателей „литературных переулков“ обнаруживалась в статье Минского со всей очевидностью. „Заветы Пушкина“ Минский, подобно своим литературным коллегам Мережковскому и Сологубу, видел в том, что художник должен воплощать в своем творчестве мистические „глубины духа“, веру в „иное безусловное бытие“. Вместо реального восприятия пушкинской поэзии Минский призывал „отгадать бездонные глубины за кажущейся беспечностью ее лазури“. Для того чтобы отпраздновать юбилей Пушкина „со всей искренностью“, приходилось искажать все его творчество согласно канонам реакционно-символистской эстетики...

Подвиг поэта, восставшего против самодержавно-крепостнической России, долго продолжал пугать „блюстителей устоев“. Отсюда и стремление подменить истинные заветы Пушкина чуждыми ему идеями, такими „заветами“, против которых он всю жизнь протестовал.

Вся жизнь Пушкина была посвящена труду, без которого, как он говорил, „нет истинно великого“. Окруженный толпой врагов, которые не могли простить ему смелую независимость, с каждым годом все острее ощущая социальное одиночество, сдавленный железным контролем коро-

нованного тюремщика и дворцовой своры, он проявил в своем литературном деле стойкость и самоотверженность революционера.

Мечта Пушкина о „нерукотворном памятнике“ воплотилась в жизнь только после великой социалистической революции, когда творчество его стало доступным всем народам нашей необъятной страны. Для наших писателей, от которых социалистическая родина ждет народных произведений о нашей эпохе, неукротимое стремление Пушкина к понятному „для многих“ художественному совершенству, его чувство высокой ответственности перед потомством является достойным примером. Заветы Пушкина нашли воплощение в творчестве советских писателей, для которых самой дорогой наградой является внимание и любовь народа. Тема пушкинского „Памятника“ переплавилась в огне революционных восстаний и органически вошла в творчество лучшего поэта нашей эпохи — Владимира Маяковского, осветившего ее мировоззрением передового человечества:

Пусть нам
Общим памятником будет
Построенный
В боях
Социализм.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“